

Иван Образцов

Живающие
СОЛМЫ

ДАМЯ
Поэзия
РЯ

Министерство культуры Алтайского края
Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова

Живающие ОЛМЫ

Стихи



Поэзия
НОМИНАЦИЯ

Барнаул
2022

*Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений*

О – 233

Образцов, И. Ю.

Оживающие холмы / Иван Образцов ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул ; Новосибирск : Экселент, 2022. – 144 с. : ил. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-6048824-3-6

«Оживающие холмы» – седьмая книга поэта, прозаика, драматурга и литературного критика Ивана Образцова, автора книг: «Квантовая лирика» (2010), «Лебединые песни XXI века» (2011), «За гранью глаз» (2012), «Разное» (2012), «Жизнь замедленных листьев» (2013), «Рула» (Канада, 2014).

Настоящее издание представляет собрание стихотворений, написанных в период с 2011 по 2022 гг. Небольшая часть произведений сборника «Оживающие холмы» была напечатана ранее на страницах всероссийских изданий, таких как: «Литературная Россия», «День литературы» и др., но подавляющее большинство стихотворений издаётся впервые.

Поэзия Ивана Образцова имеет редкое и ценное свойство – в ней сочетается как жизненная философия, так и высокий полёт вдохновения. Его стихи содержат в себе большой эмоциональный накал. Каждое стихотворение вмещает в себя судьбу и достаёт до сердца читателя, говоря о самом главном: о поиске смысла жизни, о дороге к Богу, о хрупкости жизни и неотвратимости смерти, поэтому иногда в стихах звучит трагическая горькая нотка. Автор не транслирует ситуацию, слепо следуя сюжету, а творит поэтическое состояние, и состояние это – возвышенное.

Книга рекомендована для широкой читательской аудитории.

ББК 84 (2Рос-Рус) 6–5
ISBN 978-5-6048824-3-6

© Образцов И. Ю., 2022
© КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022
© Паршина К. М., 2022

От автора

Поэтическое творчество часто воспринимается связанным с чем-то отвлечённым или развлекательным. И первое, и второе правомерно в той мере, в которой мы понимаем эти два восприятия поэзии, как части нашей жизни. Вопрос лишь в том, что означает для нас поговорить об отвлечённом? Или не менее важное понимание того, что значит для человека «развлекательное»?

Инженер или бизнесмен часто имеют дело с, казалось бы, отвлечёнными категориями, которыми являются числа, но и в том, и в другом случае результаты понимания и разговора об отвлечённом становятся вполне ощутимыми в самой жизни человека в виде прибыли или убытка, верно или нет рассчитанной математической формулы при осуществлении конкретных проектов. То есть, необходимость говорить об отвлечённом обусловлена совершенно практическими причинами.

Так насколько же важно читать поэтический сборник, где такие, казалось бы, отвлечённые категории, коими являются вопросы жизни и смерти, любви и смысла обсуждаются в сжатом пространстве отдельного стихотворения, а то и отдельной поэтической строки? Ответ очевиден – это совершенно конкретные вещи, от понимания которых зависит не просто наша жизнь, но ощущение её наполнения смыслом, фундаментальными основами существования. Более того, поэзия в этом отношении во многом превосходит как философские, так и психологические практики хотя бы по причине краткости, лаконичности высказываний.

Что же касается элемента развлекательного, то здесь необходимо его понимание в более широком смысле, как того, что даёт слуху приятное фонетическое созвучие рифм, ритмического строя. В целом, сама инструментальность поэзии – не есть ли это способ выражения высшей формы гармонического наслаждения?

Понимания поэтического сборника в предложенном ключе и желает автор тебе, дорогой читатель, который открыл для себя эту книгу, ибо она написана действительно для тебя – человека читающего.

Христос Воскрес! В смятении Мария
произнесла и сад расцвёл цветами.
Где тело в тёмном месте положили,
там больше тела – там отвален камень!
Вначале было слово – это правда,
тома иные – только тёмный лес.
Пасхального яйца скромнейший завтрак,
и радость слов – Воистину Воскрес!

По полям, по раскидистым зарослям,
то косою состригая, то вниз
по песчинке ссыпаясь, безнравственно
равнозначно.

Кузнечика жизнь,
и цветка, и пичуги, и зверя –
нет, не смерть уравнила, не страх.

Уравнило их старое время,
отмеряя на точных весах,
и в тисках изжимая, выдавливая
по песчинке, по кванту, до дна –
эта мўка такая же давняя,
что земля, что на небе звезда.

Но над смертью, над страхом, извечно
разлился изумительный свет,
что божественно в человеческом
всё горит в старом ворохе лет.



И рассекает снежные поля
стволами тополиных просек.
Так плугом вьюжная земля
разрезана от декабря
до февраля
от поздней осени.

И каждый ствол
бросает в борозду
синеющую тень,
врастая в поле.
И зимней смерти
не преодолеть
всем, что безмолвное и ледяное.

И только корни
спят невечным сном,
и помнят треск
ломающихся почек.
Так жизнь, она намного больше –
она – со всех сторон.

Мне ли петь,
когда от ветра всполохов
поле в ширь и небо переполнены.
Мне ли петь от этих ветра всполохов?

Только звон
под куполом от колокола,
плач и стон – набатом, переборами.
Мне ли петь, когда в трезвонный колокол?

Так пойду
дорогами просторными.
Господи, пусти меня бездомного,
милостью не ненавистью вздобренного.

Мне ли петь от бедности, от голода?
Мне ли петь, когда не хватит голоса?
Так пойду дорогами просторными.

В январе,
по углам,
недоделанный,
лишь октябрьский посвет луны,
я сажу,
ничего здесь
не делаю,
я смотрю в необъятность страны.
И скрипят
полуночно
уключины,
по углам – электрический ток.
Спеты песни,
куплеты
разучены,
только чайника слышен свисток.
Собираться,
со свежими
силами
выходить на январский порог.
Прикасаться
к осинам,
к осинам,
а над крышами
магазинов
проводить тебя будет свисток.

И когда
замолкают
все звуки,
в час, когда не скрипит ничего,
Только свист
о бескрайней
разлуке,
об осенней
прозрачной
разлуке
будет слышан от мира сего.

И нет, ну какой из меня иконописец?
Здесь всего хватает,
трава, частный сектор,
собачьи кучи, трамвай гремит.
Нет, не унылый –
это счастливый вид.
Мне бы только не разучится от этих писем.
Я давно узнал, что жизнь похожа на тризну,
и что вечность – это и есть жизнь,
но не прибавилось оптимизма,
когда я услышал тризну.
Ну какой из меня иконописец?
Если падают с дерева листья
и расписаны ббольшим, чем мои
белые листья
стихотворениями, сытыми рифмами
белое делают только не чистым.
Ну какой, какой же из меня
иконописец?

И вóлнами октябрьского света
накатывает на моё лицо
прибой,
прилив из самого рассвета
я был с тобой.
И вот случилось это –
она приехала ко мне,
к поэту
и просто прикоснулась головы,
и словно стало больше синевы,
и стало больше света.
И боль ушла,
ушло всё это
так, как уходит лишнее в ответах,
когда слова всего лишь шелуха,
когда слова – вся эта тишина.
Она приехала ко мне
и прикоснулась к голове,
и стало больше света.

Отшельник

Не говори, отшельник, не шути –
вина вину – коварная обуза.
Уже не за, а только – вопреки.
Шаги легки, но неподвластен узел
противоречий, вечно маргинальных,
не стоящих яйца, пяти копеек.
Отшельник, не шути, отшельник,
надежду дай мне.
Как разглядеть за баннером стеклянным
стены тюремной очертанья?
Отшельник, ты, наверно, слишком пьян,
отшельник, я тебя не понимаю.
И что твои черты мне так знакомы?
Ты кто такой?! – взвивается гордыня.
И с электрическим визгливым звоном
врывается реальности пустыня.
Ты кто такой, в мерцающем пространстве,
в бездонной пасти призрачных времён?..
Отшельник, я всю жизнь с тобой знаком,
но больше – по несчастью.



А вот были медведи,
а этот совсем не тот.
За всеми пришли и забрали,
а за ним никто не идёт.
Вот он сидит и смотрит
глазами хрустальными, васильковыми.
Никем не брошен, плюшевый
разрисованный.
Когда собирался он, ну, хотя бы в гости,
и думал, что если кто-то про дом спросит,
то он посмотрит глазами своими хрустальными
и расскажет, что его, почему то, не взяли,
а почему он совсем не знает.
Забрали Букрю, ёжиков и братьев заек,
а он всё ждёт и ждёт
и всё не дожждётся.
И что темнота, как на дне колодца
и что это страшная взрослая темнота,
когда за тобой
не придет никто никогда.

Белое облако дыма,
шёпот усталых губ –
счастье, необратимость,
бесконечности круг.
Горько – и так жестоко,
холодом, синевой.
С Богом иди!
До срока –
не уходи, постой!
Ты подожди секунду,
здесь, на пороге тьмы,
там, где память секундна.
Скучно горят холсты.
Если взорваться небом,
и рассказать тебе
бездну, в которой ты не была,
и умирала где...
И, откровенно скоро,
нервно, не защитись,
ты говоришь: «До скорого»
и обрываешь связь.
Радиоточки тихо
бьются в своих частях
света.
И облепила
плещется на кустах.

А мне, когда приходится светло,
всё говорить, да всё – о самом главном.
Весь этот я выглядывал в окно
и жизнью билось сердце, непрестанно
напоминая каждый новый раз
о том, что в парке беличьи тропинки,
что рыжий и пушистый древолаз
здесь пробежал, здесь притоптал травинку.
И этим всем, немислимо простым
зверьком, тропинкой, деревом небесным,
нет, не сжигал, но возводил мосты,
да, и костры горели повсеместно.
Качало вправо-лево – хоть куда,
а после – ничего не наступало,
и лишь лилась на улицы вода,
и только снег стелился покрывалом.
И было мне, что плакать, что молчать,
что закричать, и то, что по-над храмом,
о чём не произносится, и спать
после чего нельзя и не пристало.
И я, переплывая по воде,
то парусом, то ленточкой атласной,
нет, не спасался, но слегка задет
каким-то вышним, взял и оказался.

Обнажились и почернели скелеты сугробов
каждый дворник разламывает март на куски
и разбрасывает по дорогам.
И ночью не видно ни зги,
и слякоть, в которой ни дна, ни брода.
Наверху сосед две недели матом кричал,
каждый вечер кричал,
потом затих
и, наверно, лежит там
теперь один,
посреди... семьи
(да какой там семьи) –
просто лежит один.
Он теперь, наверно
такая же окаменелость бетонных плит
и лежит, окружённый ими,
уже как они молчит.
Онемел –
молчит.
Омертвел –
молчит.
И внезапно стало
невыносимо
тихо.
И внезапно остро
стало внутри, в груди.
и обрушился правдой
невыносимый стыд.

Потому невозможно теперь продолжать,
размерно, не в смысле рифм,
здесь необходим
иной ритм
и тогда до конца
проговорить,
потому что стихи
можно только так –
до основания,
до сердцевины
дойти,
дожить,
чтобы дальше увидеть
то, что и есть жить.
Пауза.
Скрепка.
Союз.
«И»...
И каждых пять часов утра
грохочет баками помойка –
так смерти платит неустойку
бетонная стена,
окаменевшая застройка.
Но на востоке синева
утреет с искрами надежды –
так жизнь приходит,
неизбежно,
и говорит слова
сама –
всегда сама.

Так побеждают камень
Свет, Любовь и Нежность
той жизни
настоящей, вечной.
И так приходит в воскресенье
воскресшая,
Пасхальная весна.
И радуется сердце человечье
Небесному
во все колокола!

Человек в квартире

А. Мохначёву

Наваливается целой кучей
мир безумный и злополучный,
но есть человек, что сидит неподвижно
на первом этаже с паховой грыжей.

Засыпают к ночи беспокойные птицы,
а человеку приходится шевелиться.

Кряхтя не вслух, но молча,
и выть бы там по-волчьи,
но он не может громче.

В трёхкомнатной квартире
так много ног ходили,
но вроде непосильно,
а он почти один.

И только мне однажды
пришёл конверт бумажный
из дебрей тех отважных
трёхкомнатных квартир.

Там целая россыпь чистого места
ослепительна и повсеместна.

И мне бы заполнить ровно и в ряд,
но я пишу невпопад.

И это тоже на жизнь нанижет
человек,
в квартире с паховой грыжей.

А пёс летел, раскидывал ушами,
и ничего о смерти он не знал,
и пуховою тополиной шалью
клубились отраженья луж-зеркал.
И было в том и мудрости, и смысла,
и было в том и света, и любви
так глубокó и вечно, так лучисто –
молчи, дыши и слов не говори.
Мохнатый пёс так радовался бегу,
и вместе с ним стремительно цвели
сады, и прорастал сквозь эту негу
весь мир, и отрывался от земли.

29 февраля на Красноармейском проспекте

Февраль в последний день
как будто бы затягивал метелью
и загребал вначале понемногу
в углах домов и в арках переходов
влажный низкий воздух,
до вечера всё выше поднимаясь,
и собирались ветренные стаи
и всё сильнее казались.
А к темноте уже ходили кружевами,
снегами заплетаясь по земле
и в ноги
позднему прохожему бросались,
а тот ещё отчаянней,
впервые может быть,
спешил домой, к жене.

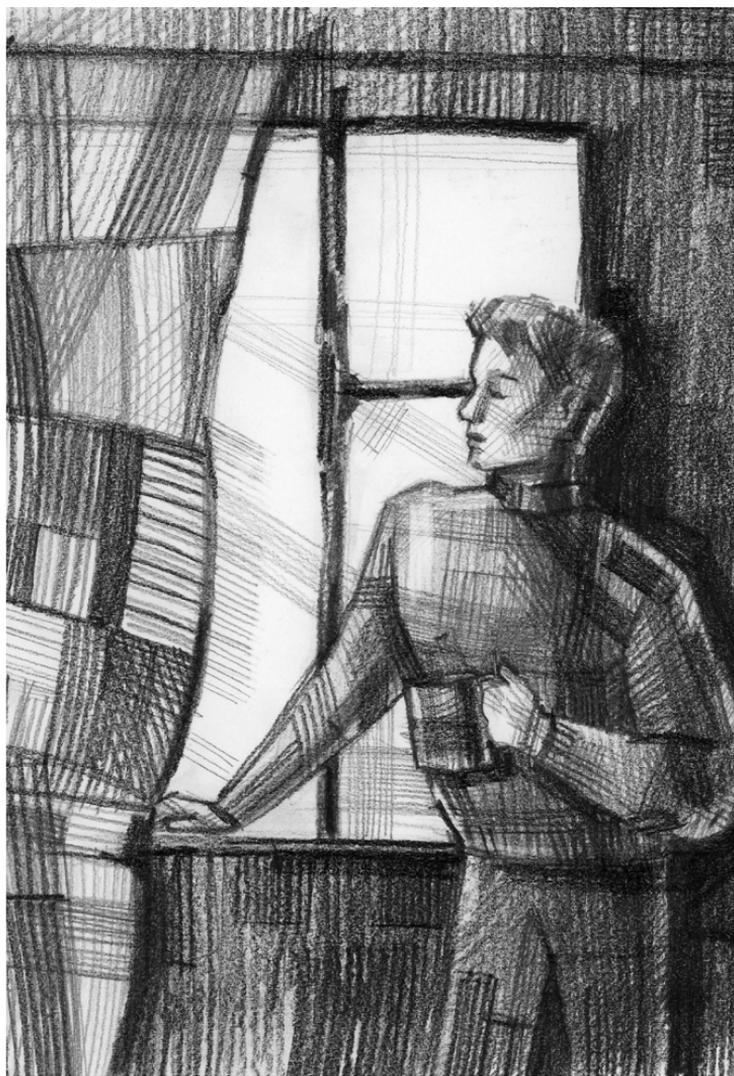
Я городской, и с детства помню – снег ругали.
И если ночью в городе метель прошла,
то начинали с самого утра,
звонили и ругались – в ЖКХ,
куда-то там ещё,
и дворников искали.

Я сам, постарше стал не прочь
обругивать сугробы на дорогах.
И всё казалось очевидно правильным,
и каждая метель – косматая старуха злая.

Зачем вообще метели на земле,
бессмысленное куч перемещенье,
и перемёты по кварталам,
и по магистралям,
да сквозняки одни
в балконе и в окне.
И самыми счастливыми
казались африканцы,
но нам всё время сообщали,
что те
всё время отчего-то голодали.

Я с детства слушал, да и до сих пор,
о том, что всё не слава богу у людей,
и так по всей земле –
какие-то то голод, то война,
то снег завалит.
И даже в тёплой и фруктовой Африке,
и там всё время кто-то голодает.

И вот, однажды,
не скажу вам точно,
мне то ли старый друг поэт,
живущий на земле седьмой десяток лет,
а может быть и я ему,
не важно кто кому,
о феврале всю правду рассказали,
наверное, на всех людей одну,
и потому



она не может быть присваема
мне
и ему,
или другому,
как блеск звезды,
как радуга цветная.
Так небо иногда
о сотворенье
и о мире раскрывается,
и смотрит на тебя
то бирюзовыми,
то вдруг лазурными,
то золотистыми зрачками.
Так радостно, навзрыд,
пронзительно просто
любовь, молитва,
и ещё стихи случаются.
Так зренье нищему слепому возвращают
касанием руки,
одним руки касанием.
Так чудо происходит наяву.
И так приходит сотворённое,
немыслимое знание.

Нет, здесь я просто расскажу,
о том, что кажется
нелепым и печальным
про снег, и про метель
в последний день февральный,

про утра белоснежную,
живую кутерьму,
и мутную тюрьму
земного невысокого отчаянья,
что только ищет внешнего
и внешнюю вину.

Технически известно
почему
всё было так, а не иначе,
когда в календаре, тому,
кто самым малым был
и незадачливым,
кто представлял не зѣмы,
но зимѹ,
когда ему,
решили день неоднозначный
прибавить,
что ни сердцу, так уму.
И вот с тех пор, тому, кто меньше всех,
присвоили ещё и неудачливость,
и неудачность.

Да, речь о феврале.
Однажды мне
известно стало,
что сама себя достала
людская бестолковая возня
по поводу младенца-февраля.

Мало того, что он в зиме последний,
метельный, вьюжный, канительный,
так ведь ещё и день прибавили,
но всё опять,
как будто издеваясь,
оставили между других
по-календарно
самым маленьким.

Казалось бы,
всего на день
и только к месяцу единому
прибавили,
а целый год назвали високосным,
и всё своё кривое и косое,
дебелое и костное
свалили в этот год –
на день февральный,
и все свои запоры, все запои,
проклятьем високосным обругали.
Так по-людски – смешно и аморально,
«и смех, и грех» – вот вся мораль в финале.

Так коротка,
внезапна
и оборвана строка,
о бестолковой,
суеверной
болтовне

о февраля
29-ом
високосном
дне.
О дне прибавленном
и о людской молве.

Снег

И снег – грохочущая пыль,
и прах, осыпанный в земное,
а здесь в живых лишь мы, лишь двое
и в поле мёрзнущий ковыль,
и белоснежная змея
пересекает нам движение –
автобусная колея
в снег завивается метельный.
И мы, в тепле, по колее,
в нутре автобуса, замлевши,
летим. И стелется к весне
снег, декаблями заболевший.

И глухота, где стынь и стан
надломом в каменной Венере,
чьи белоснежные уста,
но дух надгробий, дух метельный,
где эллин был и иудей,
там кровь и винограда завязь –
Он говорил среди людей,
и человеки поднимались.
И было там, и до сих пор,
что Свет, пробивший мрак могилы,
и весть о том во весь опор
от гроба разнеслась по миру.
И нам, над церковью, над паствой
всё тот же Голос говорит,
что Русь, охваченная Пасхой
восходом розовым горит!

А если выходя за эту дверь
ты усмотрел Того, кто выше ходит,
о той Его, невысказанной природе
одно лишь чувство света, слово – верь.
Падёжем скотским, проклятой чертой,
переходимой гранью, преходящим –
всё это оставлять по восходящей.
Душой, такой невысказанно простой,
прорвавшись ввысь, туда, где немота
преодолима, и вот в той природе,
придя к Тому, кто всё же выше ходит,
узнать и стать всем тем, что – высота.

Камень лбом упирается в водный поток,
омывает его всевозможная жуть,
иногда вырывается неба кусок –
искажённая линза воды. Не забудь
эту хмарь, эту взвесь, эту звёздную ночь,
не забудь никогда всё, что ты разделил
на двоих. И однажды уже превозмочь,
не забудь, не останется крохотных сил.
Не забудь городá и слова навсегда,
потому что белеет небесный апрель,
и весна пробивается из-под льда.
Не забудь, водной жути не верь.

Заморóжен и звóнок
свет январской луны
в стéклах тьмы заоконной

выходи и дыши осторожно
там, где сможешь.

Осыпается звонкая пыль
то снежинок, то инея тонкого
неба сколов

наша острая, колкая быть,
наши голос и голод
не холод.

Расхлестало от жара тулуп
и пошли нараспашку
в январе, к Рождеству
в снег опавший.

Ну так что же ты ждёшь,
человече?
Тяжело, ну так что ж,
только верится крепче.

Вот так и мы, из года в год,
и всё ужасней, и немее
глядим и думаем вперед,
и ни о чём не сожалеем,
пока беснуется огонь
или качаются метели,
и одинокий, сам не свой,
фонарь, как свет в конце недели.
И вот, открытый всем ветрам,
бредёт и длится двадцать первый –
прохладный век,
который нам
всем современный.

Время, время.
Мало времени.
Мы летим,
смертью беременные,
переполняясь бременем –
временем.

Временами
полнится прошлое,
прогорает,
корчится, крошится.
Штабелями-днями сложено
всё, что дорого,
всё, что грóшево –
сброшено.

Жизнь
от времени задыхается.
Что ж молчишь ты, моя красавица?
От того ли, что, словно пьяница,
будни,
да и после пятницы
остановиться не получается –
миг проглатываю.
Задыхаюсь я.

Пьян напитком
дурного времени.
Ты ответами
пожалей меня –
клетка это
или келия?
Ценно что,
не временно?

Расскажи, полюби,
пожалей меня,
остальное – обесценится,
не сейчас,
ну так после времени,
после смерти
безвременно.

С временем расцепимся.
И больше не будет времени.

И если бьётся что-то яростно, в груди, не уставая,
похожее на птиц, на поезда, на время,
то этой кр́ови, этого тепла,
то этой нитевидной трели,
то света этого достаточно, вполне.
А что там устаёт, так это только голос,
и руки устают, и плечи.
Не смейте говорить, что время лечит
на этой, всё же радостной, земле.

И потому, я, также, как и все,
дышу, с тобой в автобусах катаюсь.
Ну, а когда растаю, переплавлюсь,
в какой-нибудь воде, траве, росе,
то всё равно вот здесь останусь жить,
со всей своей судьбой и правдой.
И даже если буду знать, что никому не надо
ни этой правды и ни этих птиц,
то кто мне запретит здесь быть, водой хотя бы
или расти травой, и падать сверху вниз.

И я дышу, по-взрослому, до дна, серьёзно,
как никогда не падал, не дышал.
И я вдыхаю этот тонкий воздух,
закатный воздух, звонкий, как металл.
И говорю, о чём здесь говорить, совсем не стоит,
особенно всем тем,
кому и без того комфортно и тепло.
А что меня здесь держит,
кроме света, кроме жаркой кр́ови –
да, больше ничего.
Да.
Больше ничего.



Рабочий Василий

Всё это был простой пенициллин,
а Вася спал и видел снов громаду,
и было ничего ему не надо,
ни современных грёз, и ни былин.
Хотелось жить, вот так вот, просто – жить,
и видеть сны, и явь, и свод небесный,
а на соседней койке плакал жид
от интернетных отзывов нелестных,
и в уголке дремал седой прораб,
пропивший жизнь на вечных долгостроях,
нехитрый весь уже не скарб, а скраб
в ногтях чернел и ничего не стоил...
По-пьяни, в грязной робе ЖКХ,
уснул зимой, от жизненных усилий
и отморозил пальцы на руках
рабочий-слесарь с именем Василий.

А когда мы вернёмся домой,
а когда мы с тобой замолчим –
всё что важным окажется – только столбы,
только вехи стихотворений.
Это вечное небо стрижей
распластается над головой,
это небо помашет нам синим платком
в самый солнечный день воскресенья.

А когда мы вернёмся домой.
На мгновенье – не важно кто прав
в нашей вечной любви –
беспокойной, последней, нездешней;
Ты закроешь глаза, ты уснёшь
в одинокой траве, в васильках
окажусь я с тобой бесконечно
печальным и нежным.

А когда мы вернёмся с тобой
в этот солнечный яростный день,
где крылатые бабочки,
как лебединые стаи;
Всё, что грохотом за спиной,
было страшной, дурацкой игрой,
там булавкой приколоты бабочка
между стихами.

Да будут здесь жуки гудеть
и васильки укроют землю
и жизнь закатится за смерть
ранеткой зрелой.
Да будет яростный закат
сквозь тополиные размахи
бросать нездешние слова
вечерней птахе.
Да в тополиной суете
жучиный город
с закатной птахой в песнь песнѣй
сольются – хором.

Красота так прозрачна, печальна и неуловима
мне душа показалась во всей красоте,
но такой еле слышной, как будто фотоны
откровенного света и тёплого полного ливня,
это водная и огневая поэзия, мировоззрение,
залитость светом, бездонность.
Это июля грохочущий день невозможно объятный,
это сердце, звезды вещество, под ногами планета.
А на солнце не бури магнитные, не непонятные пятна,
а на солнце всё сердце, само идеальное лето.
Это лето само, это смысл ядра, сердцевина всей жизни,
это Бога Лицо, потому что в Него невозможно
всмотреться,
это солнечный луч, соскользнувший с ладони,
сверкнул на карнизе,
это звёздное сердце восходит самой красотой,
над планетой, над смертью.
Потому я прошу об одном, потому что я знаю,
тяжело, невозможно, но необходимо мой голос
услышать,
и сейчас, и потом, где стоят, и где вечно внимают,
где и так высоко, где уже не бывает зенитней и выше.

Дмитрию Воденникову

Подожди,
я не стану тебя доставать своей музой,
что смелее всех самых военных размашистых лиц.
Нет, не нужно стихов,
на карнизе разбухшем и грузном
сто страниц.

Да, я здесь,
я всё ещё здесь, я по эту сторону.
Я дорогу тебе устилаю одинокой трофейной травой
и снежинками в стиле барокко, с оттенками голубого.
Я – живой!

Мне военный художник с мольбертом в планшете¹
говорил о тебе,
говорил, что каждый напьётся выжатым соком
и что время не имеет значенья на этой войне
никакого.

У меня есть фляга василькового сока и старый сборник
стихов.
Я стою на железном вагоне
в гимнастёрке, пропитанной пылью веков.
Я вам всем говорю о свободе!

¹ С мольбертом в планшете – здесь подразумевается, что армейский планшет (специальная сумка командного состава для рабочих документов и карт) заменяет военному художнику мольберт (прим. ред.).

Вот, ещё человек,
кажется, он из Перми,
на платформу выходит с раскалённым мобильником,
говорит о любви.

И другой, в военном мундире,
с московских холмов,
с ноутбуком и пачкой листов А4,
где брусничным почерком та же любовь.

И ещё, человек из Сибири
с тремя рассказами о Чечне
мелким почерком
и с бутылкой водки на берёзовых почках.

Ну а те, пропавшие без вести –
мы их помним на этой войне –
на верёвке, в талой весенней воде,
с огнестрельным в груди –
мы их всех оставляем в себе,
продолжая нести это знамя высокой поэзии.

Ведь никто не имеет права
оскорблять, пробегая пустыми глазами,
наше светлое доброе,
наше – я люблю тебя, дорогая.

Оставьте, оставьте нас,
мы не нуждаемся в жалости,
но мы любим вас так,
как вы любить не умеете.
Мы научим вас говорить –
я люблю тебя, дорогая.
Из фляги глотая
васильковый выжатый сок.

Пейте, пейте до дна,
ведь взошли васильки на полях.
Губы плавятся, мониторы дымятся,
машины гудят в городах,
но попробуйте пить до дна.

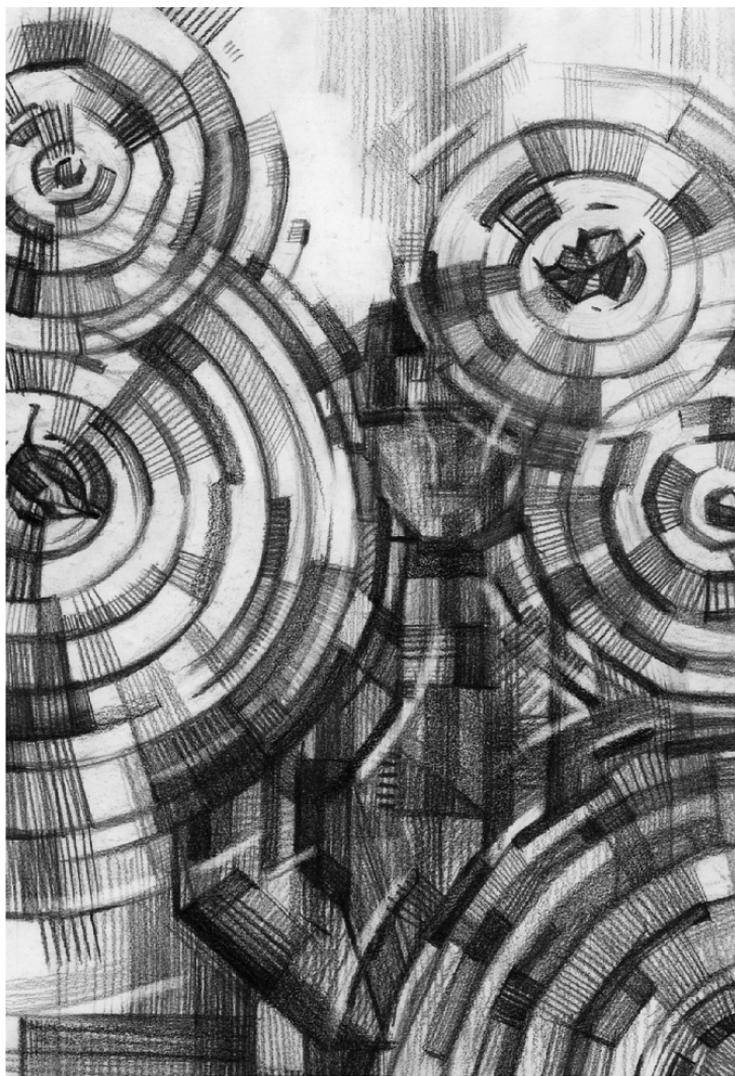
Все его повстречают,
всех нарисует военный художник,
даже тех, кто писал на заборах и стенах подъезда,
кто обнимался в общагах и тесных прихожих,
кто пил сок васильковый,
наше доброе, светлое.

И кто говорил – я буду любить тебя вечно –
а потом просто умер в каком-то пивбаре,
не сказав – я люблю тебя, дорогая –
даже их нарисует, красивыми,
такими, какими они были вначале.

Ведь в начале всегда было слово из синих цветов.
Я вам всем покажу картины свои.
На губах васильковый расплавленный сок
и на поясе фляга, планшет и мольберт,
а вокруг – васильки.

Даже эти газеты, что криво прилипли к стёклам,
в меня упираются взглядами фотографий
блёклых от времени, из типографий блёклых,
из какой-то страны, где блёклые типографии.
Из страны, что снежинки множит, обычно в стиле
барокко, больше с оттенками голубого,
если же вечер, то больше оттенков синего
на крыльце подъезда, где не было домофона.
Только это не повод вокруг разводить мистерию,
ведь отдельная память не стоит обычно яйца
выеденного из сердца самой материи,
той, у которой портной не найдёт конца.
Как «тебя не люблю» залегло навсегда за прошлым,
как за дверью шкафа висит знакомый скелет –
бесконечен снег и стены пропахшие кошками,
бесконечны окна с изображеньем газет.
Но глядишь и видишь там, за стеклянной рамой
зеленеют кусты обычной белой сирени,
там бывает вечер заполнен густым туманом,
а ночами луна бывает на самом деле
очень похожа на блин с деревенским маслом.
Стрекотание доходит до апогея
жизни цикад. Простынь поверх матраца
белее тебя на ней, снега белее.
Что тогда уповать на отдельно взятое прошлое,
да и кем оно взято отдельно – самим собой,
что отдельно сидит и помнит соседских кошек,
из той самой страны, из какой-то, но всё же той.

Мой дед под Курском был, где смерть лихая –
под небом выжил и под небом жил.
Когда крестился он? Господь лишь знает,
для мира дед молчал, не говорил.
Бывает много не постов, но постных,
не лиц, но выражений и мерил,
А мой отец крестился в девяностых.
Зачем? Он никогда не говорил.
И вот, настал черёд и я крестился.
Когда? Тогда, когда пришла пора.
Зачем? Ответил я, когда молился –
вначале и сегодня вот с утра.



Жизнь замедленных листьев

Уносит ветер дым, так нарочито плавно,
уносит облакам жару и листопад.
Уносит ветер дым и близятся туманы,
а на двадцатый день стучит по крышам град.
Уносит ветер дым и, вроде бы, банально
сказать, что дом мой пуст, что ветер одинок,
но ты придёшь ко мне стройна и гениальна,
не «между» будешь – будешь выше строк.
И если этот свет над светом электричеств,
как древняя свеча и как живой огонь
прокатится, то я – сгребу свою наличность...
Уносит ветер дым, летит по небу конь...
Мне скажут друг и враг: останься с нами рядом,
мне скажут друг и враг: останешься один.
Но катится огонь горячим листопадом –
летит по небу конь, уносит ветер дым.

Вот, после дождя я вернусь, обязательно,
светлый и тихий,
и детское сердце моё будет радо любому из вас,
и рыжее солнце зароется в цвет облепихи...
Всё будет – сейчас.

Вот так будет греть и смеяться, упав на ладони,
оранжевый луч, а вдали загудит пароход-контрабас,
и станут стрижи упиваться небесной погоней...
Всё будет – сейчас.

Вот, счастье, которое жадно, прекрасно,
большими глотками
я петь буду, пить буду, так, чтобы слёзы из глаз,
но не удержать, ни словами, ни чьими руками
мгновенье – сейчас.

Как плачет осенним тополем
любовь моя всхлипом, всплеском,
и крона её растрёпана –
поражена небесным,
синим небесным цветом –
как будто раньше не видела,
как будто бы раньше не было
яркой звезды в зените.
Я, может быть, и не встал бы,
и не услышал бы всхлипов,
но ветер стучался в ставни,
и их раскрывал со скрипом.
Любовь моя, выше сил
мне биться – я где-то сбился,
я всех пожалел, простил,
себя же – не научился.

Так плачет осенним тополем
любовь моя всхлипом, всплеском,
и крона её растрёпана
чем-то уже небесным.

Миленький ты мой, какая скука.
Миленький ты мой, тоска какая.
Голос глух от собственного звука.
Звуков я совсем не различаю.
Белый кот так тихо-тихо ходит
в темноте пустого коридора.
Есть законы физики в природе.
Белый кот не знает о законах.
Со стены японская принцесса
от безделья пялится в компьютер.
Это всё, конечно, интересно.
Засыпаю.
Скоро будет утро...

И под ногой хрустящий снег
живой сиреневый холодный.
Нет, я тебя любил свободно,
я совершал с тобой побег
туда, где бабочки летают
и Фетом в школе не пытаются.

Но снег, весь этот снег
хрустит, не тает...

И ты, и я – мы исчезаем,
так незаметно одиноко остро,
а потом, потом
качает ветром мачтовые сосны,
и голубым платком
нам машет небо вслед.

Почти – случайно, незаученно, нелепо
мы говорим про свет,
про бабочек, про Фета и про это.

Могила тревожного сердца

Я оставался без тебя,
я не писал, а лишь смотрел в листок бумаги,
ведь что мои слова – короткий всплеск,
от неба быстрый звук,
а в небе как всегда так много синевы и влаги
замёрзших вдруг.

Да я и сам почти не ощущаю
ни холода, ни зла, и только сверху вниз
я всё смотрю в обугленные стаи
моих страниц.

И листья одинокие последних дней осенних
летят, летят на снег, на самый первый снег.
Ты видишь ли меня, издалека, рассеянно,
что я не человек.

И мне не тяжело, мне только очень странно
смотреть на этот лёд нечеловечьих рук,
я жив, я жив ещё, но весь укрыт туманом
и только стук.

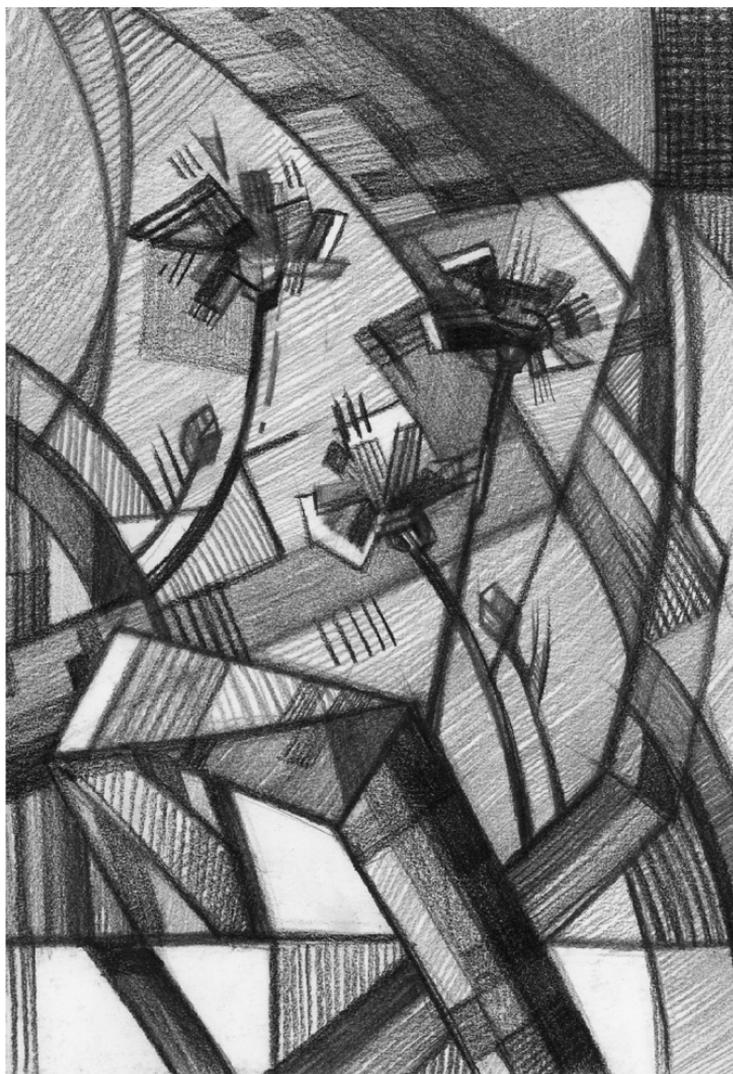
Короткий стук часов и сердца стук короткий,
и ритм коротких дней, и слов короткий ритм –
как замечательно, как плавно, как неловко
мой лёд горит.

Я оставался без тебя – ты лучше, ты светлее,
светлее всех стихов моих и не моих,
и если я когда-нибудь посмею,
то расскажу, что и любил, и верил
за нас двоих.

И, знаешь, этот голос твой, такой звенящий,
почти ненастоящий, но живой,
твой голос наложить на голос мой,
какого цвета станет он на этом свете,
и как не захлебнуться этим цветом?
А быть твоим мужчиной и поэтом,
сейчас или когда-нибудь –
как оправдание и как заглавный повод.
Я говорю – молчат предметы:
стол, холодильник, чайник разогретый
и тонкий, чёрный телефонный провод.

Я не перестаю к тебе ходить на чай,
а ты сидишь на подоконнике, у края, у окна.
Мне важно быть и пить зелёный чай,
и различать тебя, но ты едва видна.
Едва, едва... Заполнить и закрасить
все клетки в тишине и пустоте.
И я тогда подумал, что пора нам слазить –
мне с тишины, и с подоконника – тебе.
Пора шагнуть от края, от границы.
И я шагнул, и ты шагнула – в пропасть.
И разлетелись птицы, бабочки, ресницы.
И голос наложил на голос.

И если я тебя с собой не заберу,
то только потому, что этой ночью
я умер, как-то между прочим,
и больше не умру.



Вот снег, первый снег – двадцатое октября
и пятна земли, и вечнозелёные стебли осоки,
а я не любил проводить в своей школьной тетради поля.
Я был слишком длинный, а мама сказала – высокий.
И вот, я торчу из-под снега, из чёрной земли,
торчу на полях, слишком вечнозелёный и длинный,
а мама моя и какие-то люди чужие под снегом легли,
а мне это всё так по-детски обидно, обидно.
И вечером, дома, уткнувшись в родное плечо,
твержу про себя: моя светлая, в этой тревоге
меня не оставь и не пожалей ни о чём,
скажи, что я вовсе не длинный, а твой и высокий.

Это больше, чем сон, чем во сне нелюбовь Беатриче или Данте, что, в сущности, здесь и не важно, но всё же, остаются всегда после нас только ворохи листьев и какие-то книги, и маленький ад, и треножник. А потом я расту разноцветной высокой травой, обнимаю твои полуголые тёплые ноги. Я тебя оправдаю, единственный злой и живой и с собой заберу с этой пыльной пустынной дороги. Набери этот звон, где угодно – в своей голове, в телефоне, вбегая в автобус, на поиске в Google-e, потому как любой человек подобен звезде, потому как везде остаются забытые люди. Да, я к вам, господа, или как вас там лучше назвать, к сожалению, все мы из мягкого красного мяса, к сожалению, все мы привыкли чуть-чуть умирать. К слову, кто-то из вас никогда не дойдёт до Парнаса или как там у вас называется эта страна, моя вера с цветными глазами в задрипанных буднях? Я всегда говорил – важнее внутри тишина – мои тихие дети, мои бесконечные люди. Неизменно любой остаётся – вот с этим – один. До меня уже было – мы делим постель и тревогу, только смерть не разделим – ни с кем, никогда – на двоих, но мы многое скажем, хотя и не скажем о многом. Ну, а как там у вас называются звёзды и люди? А я – просто сижу и курю вечерами в окно. Да, вот так вот, курю вечерами в окно, но моя Беатриче звенит в разноцветной посуде.

Погоди, человек, давай, помолчим, хоть немного –
что нам, в сущности, смерть – секунда у чёрной дыры.
Отчего же не петь и руками друг друга не трогать –
что нам, в сущности, смерть,
давай, помолчим, хоть немного
и в конце-то концов зазвем комком тишины.

Подожди, между прочим, мы просто устали
отвечая за то, что звучит в этом мире,
но во всём есть предел, в том числе и в печали,
в том числе, пролегая по нашей квартире.
Ведь никто не ушёл, ведь всегда остаётся,
пока смотримся мы в отражения стёкол,
мягкий свет в глубине, так похожий на солнце,
будто отблеск ночного подлунного тока.
Только ты будешь тихо листать эти письма
и бросать как золу, и смотреть обречённо,
как луна отражает застывшие числа,
фонари городские, витрины и окна.
А в панельных ночных лабиринтах домов
будут молча склоняться забытые тени
и луна, пробираясь по складкам постели,
станет отблеском собственных прожитых снов.
А была ли любовь – я твержу неустанно
и я еду, я еду к тебе неизбежно
и опять вижу сны, фонари и вокзалы,
а за окнами падает город мой снежный.
У всего есть предел, но всегда остаётся,
пока смотримся мы в отражения стёкол,
тихий отблеск луны и ночного потока
мягкий свет в глубине так похожий на солнце.
У всего есть предел, но всегда остаётся
тихий свет в глубине, так похожий на солнце.
Но всегда, но всегда – навсегда остаётся
Тихий отблеск в глазах, так похожий на солнце.

И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему, плавно.
Но я больше не новый – я их провожаю без слова,
и без жеста я их провожаю в речные туманы.
А ведь, правда, что там остаётся, на глади свинцовой,
кроме следа осеннего, кроме осадка разлуки?
А на Малой Олонской уже не осталось знакомых –
и я еду в автобусе, грея дыханием руки.
И я грею дыханием эти застывшие звуки.
И я пёре-числяю запутанных судеб смятенье.
Тополя у Речного, киоски, бутылки, окурки –
вот и всё, что осталось в следах и осадках осенних.
И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему плавно –
а я больше не новый – другой, но, конечно, не новый –
и осеннее солнце встаёт и плывёт над туманом.



Только ты или я – здесь останется это не важным,
и река утекает с листа – я её рисовал.
Ты поёшь так, о, Господи, так лебедино. Мне страшно
срифмовать твою песню, зелёных кузнечиков, солнца овал
на воде, а ещё, стрекоза золотая сидит на ладонях –
то есть, всё это «на», завершённо, снаружи, извне.
Я тебя обхватил, взял в охапку и даже не понял,
что снаружи и я, как плывут лепестки по воде.
Лепестки облетающих медленно ивовых листьев –
твоя песня, о, Господи, я рисовал этот звук,
потому что не мог передать, удержать, перечислить,
потому что и ты ускользала из замкнутых рук.
Вот, и ты уходила – прощалась, летела, звенела –
а я просто смотрел на тебя, зажимая в руке
лебединые звуки, остатки воздушного тела,
лепестков, уплывающих медленно, вниз по реке.

Когда останется чуть-чуть до дна,
и я останусь слишком крайним
меня укроет пелена
и спрячет руки в покрывале,
тогда солгать не станет сил,
и белой песней лебединой –
пронзительной – звенящей – длинной,
над рыжей ломкостью осин
я расскажу, что только ты,
ты есть на этом белом свете.
Вот – авторучка и цветы,
вот – золотистый тёплый ветер,
но ты – пронзительно жива –
а я тебя губил и ранил,
и посвящал в своём романе
тебе слова... одни слова...

Не словом единым, а только руками,
а только ладонями к сердцу прижатыми,
а только обветренными губами
я проговариваю многократно
прощальное счастье – черешневым соком,
закатом малиновым. В упоенье
ты здесь мне махала платками осенними
моих тополей, облетавших до срока.
Забито фанерой, забыто, закрыто
окно на заброшенной старенькой даче
и плачет прозрачная тень у калитки –
поэт и мужчина – маленький мальчик.

Закатился за крышу,
заклубился и сгинул
дым печного затишья,
дым февральского мира.
Так заброшены сети
ветвистого сада
в туман,
в горизонт,
по домам.
Так сплетается горе –
бредёт по умам
и сети плетёт по умам.
Так болит под ногами
рифмованный снег,
и по снегу идёт человек.

И звоном пухнет тишина
и дым по полю стелется,
и ночь глуха, и ночь пуста
до горизонта-дна.
Ранетками созревшими
сентябрьских дней недели
засыпана веранда,
запазуха полна.
Но прошлый год
и будущий
берёза гнётся
к тополю
и шепчется, и плачется ему
о том,
что вьющимися
сплетнями,
что чёрными
воронами
облеплена берёза
со всех
сторон.

И вздыхает, нагруженное зерном,
это поле, и просится на покой,
а вдали фургон – только пыль столбом,
как сто лет назад – да по полю конь.
И под вечер, измучившись духотой,
мошкаркой комариной забитый рот,
в полевую грудь человек плюёт
и домой уходит, махнув рукой.
И закатом проглоченный драндулет,
и следы человека того, и дом –
через сто таких же российских лет –
только поля вздох,
только пыль столбом.



Тополиное

Дремал и плакал у окна
старинный онемевший тополь,
но жизнь была всего одна
и падал он у этих окон
уже какой десяток лет.
О, Господи, да что ж такое,
что ж этот тополь онемел ещё живой?
Апрель, какой же здесь апрель!
а листья прели.
И восхищался напоследок
и чернота ползла под снегом,
и птицы пели.
Немели ветви и уже не пили воду.
Я здесь привязывал качели,
когда – не помню.
Но кажется, что там – давно
глазастый мальчик
вязал узлы, ещё не знал
как тополь плачет.

Но так и есть, о, Господи, вот так –
играет музыка – безвидна и пуста,
в кустах скребётся желторотый птуч².
Не смерти, Боже, жизни я боюсь.

И падают с листа пылинки света,
осколки лета, августовских гроз,
куплет о том, о сём, гербарий поз
сухих и ломких яблоневых веток.

И старый пёс залает на закат,
уткнётся мордой в розово-лиловый
разбухший шар, и мир качнётся снова,
и слово – свет,
и снова – темнота.

² Птуч – здесь птица, птенец (авторск.).

Так дай мне этих рук
прикосновений,
и ягодами осыпáться,
и лепестками.
Календари все, правда, врут,
все говорят – никто не знает.

И золото, и серебро,
и медь – измерили словами,
молчать и не распахивать окно,
тетрадь не раскрывая.

Не верить, не просить, а только знать –
как много книг, стихов и предложений.
Сжигать, золу из печки выгребать,
на черный день
чернила запасать.

Так дай мне мужества не говорить – молчать.
И аромат садовой земляники,
и рук прикосновений редких, тихих,
и то, что приближает благодать.

Ю. Крейдуну

Здесь был какой-то гулкий морок
всё по низам,
а там уже растёт шиповник
и бьёт гроза.
Я шёл, и грохотом из неба
опустошён –
и где ж я был? Ну что ж я делал?
Куда я шёл?
Нет, я не знал на то ответов,
и ничего
вообще не знал,
но было лето
и так тепло.

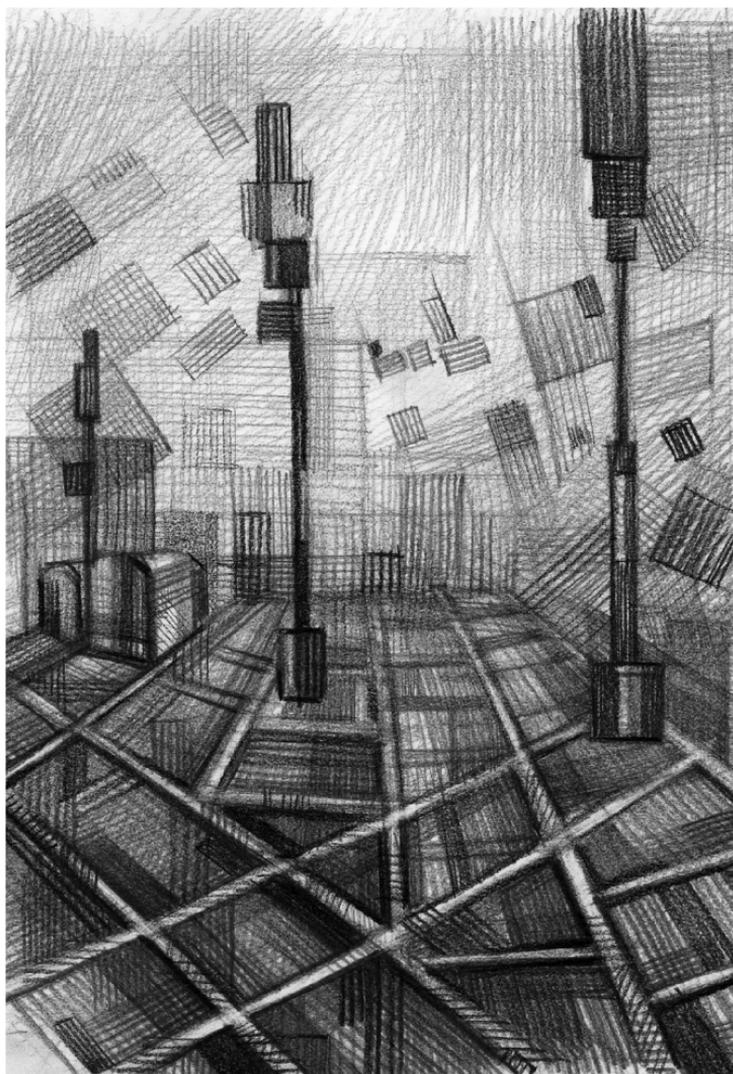
Пасхальное

Владимиру Емелину

А осень – слово.
Так, листом созревшим
летят на землю вишня и орешник,
и снова каплет, бьёт в пустой скворешник.
Но то ли воздух, то ли я здесь вешний,
на паутинке тоненькой подвешен.
Там, высоко, где ангелы безгрешные
вся жизнь, и в эту жизнь летит надежда –
в Небесный город, светлый и воскресший.
Но дальним, и до сердца прикипевшим –
дай, Господи, им жизнь, и свет, и вечность.
Ты помяни, весенним, тем, что вешний,
и не вмени мне дел и лет ушедших,
я падаю и прорастаю вечным –
листом созревшим и зерном воскресшим.

Элегия № 1

Так истекает лето
лиственностью влажной,
и кипит, и пенится,
и шелестит теплом.
Потом,
янтарной пеной остывает, и густеет,
и, потемневшие от янтаря,
лбы тополей
в испарине прохладной.
Окрашен сквер
мерцаниями нервными,
всё больше голосов измены
иссушивают внешний вид,
всё больше тех,
влюбившихся до смерти
в иголочный и тонкий хруст
ломающихся крыльев
засохших золотых стрекоз.
Земная сырость – чёрный сон для преющей листвы,
но, острой близостью
и звонкой тишиной проникнуты,
белеют тополиные стволы.
Мой поезд этим утром
уплывает в небо –
я никогда здесь не был одинок –
изломанность, не означает грубость
дорог.



Вагонной поступью,
неповторимым утром,
от нашей острой близости
кипит янтарь,
изламываемся,
не передать
словами календарь испарин наших,
но каждый раз пытаюсь передать.
Имею власть и применяю власть,
начать тебя –
опять начать сначала,
и этим быть,
и этим стать.

Элегия № 2

Тополиный вздымается ветер –
это мнимый замедленный танец,
торопливее и заметнее,
раскрывается, осыпаясь –
это время обугленных спичек,
коньяков, гостиничных метров,
встречь³ – прерывистых,
встреч – секретных,
время – личное.

Тополиный вздымается ветер,
это мнимый замедленный танец.
Прошлогодние, полстолетние,
пожелтелыми опускались.
Это время замученных спичей,
и неверие, и неверность.
Нам, родившимся после смерти –
человечьей,
лиственной,
птичьей –
нам оставили лишь одно,
право – вычеркнуть!

Эту бледность осенних лиц тополиных,
лебединых наречий,
эту высшую форму речи
не отменить актёрством –
денежным – бессердечьем.

³ Встречь – здесь нареч., т.е. впереди, навстречу (прим. ред.).

Потому что стихи – это всегда о вечном,
всё остальное – низшая форма слов.
Тополиный вздымается ветер
из глубины пятиэтажных дворов.

На Троицу

Владимиру Емелину

И жизнь не жизнь,
и смерть не смерть –
темно, когда бесчеловечно,
и, разумеется, что вечность
среди кишок не разглядеть.
И в стоеросовых мозгах
одна кишечная отравка –
там, что налево, что направо –
всё смерть и страх.
Но вздрогнет зёрнышко внутри,
когда под коркой мироздания
сверкнёт Тот свет,
до основанья
преобразит.
И с глаз спадают чешуй,
и человека вновь спасают
слова любви!

Венчальное

Это вагонов, это колёсный
стук монотонный, железнодорожный.
Ты на перроне безлюдном, безбожном.
Кто тебя смел, кто тебя трогал?
Только вагоны стучали, взлетая,
словно забившись единственным ритмом
куст оживает и рушится стаей –
птичий, испуганный, воробьиный.
Ты же стояла и вечная тайна
струн, натянувшихся инструментально.
Нет, не коснулись чужими, руками,
только окурков у ног набросали
скользкие, потные, скотские пальцы,
мимо спешили, сытели телами.

Ты замирала, и статуи – гулко
гипсом полнили перроны по миру,
рельсы звучали и жили тем ритмом.
И до того этот ритм необъятный,
что от земного ядра до зенита
остро пронзили...

Но замолчали плиты перрона,
только вдали виадук отозвался
эхом коротким, и не осталось
даже и этого...

Ты покорялась каменной тяжести,
ты летать разучалась...

Нет, гравитация здесь была лишней.
Не тяготением круглой планеты,
только не общим лицом твоя жизнь –
черт красоты никаким лучшим мрамором
запечатлеть невозможно, лишь светом.

Но ты молчала и так замирала,
словно могильные статуи ангелов –
смерть испокон только так украшалась,
но не от страха, то ли от падали.
Разве кого-то она утешала каменным ангелом,
тлен под землёй придавливая.

Я же посмел тебя трогать, касаться
благоговейною нежностью пальцев.
Тайная, струнная, инструментальная,
жизненным даром взлетать, воскресать
мы с тобой стали тогда и словами
только лишь отблеск могу передать –
света над нашими головами,
смерть преодолевающего,
света – всё покрывающего,
света – венчального.

Если приходит печаль –
Вспомни наш храм вначале,
Вспомни самое главное –
Любовь никогда не кончается.

И нечему радоваться,
гость мой печальный.
Лишь звёзды плывут в вышине.
Лишь звёзды разбухшие
в космос впечатались,
не помещаясь в окне.
Лишь вьётся позёмкою
по бездорожью;
лишь город тревожно уснул.
но городу можно,
и в городе сложно
вписаться в изломанность скул.
Печальный мой гость
и тебе не оставлю
заоблачных слов тишину.
На выходе, в окнах
дежурит устало
архангел, сжимая трубу.
И всё ничего, если быть одиноким
и одиноким уснуть.
Но ангелы гибнут
на бедном пороге,
но ангелы бьются
на бедном пороге,
и просит дыхания грудь.

И смотрит Бог сквозь дыры в облаках.
На небесах всё так же, как и прежде.
И здесь всё так же, и цветёт подснежник,
и время отмеряется в часах.
Валежником заброшен в землю лес,
но рвутся к небу мачтовые сосны.
Серьёзно, как и прежде, и несосно
между людей суётся мелкий бес.
Так яростно, так радостно, так громко
взрывает солнце головы и окна.
Осколки разлетаются жестоко.
Разбито сердце и платок искомкан.
Нет слёз, есть только раз-очарованье
в израненных исписанных страницах.
Журавль в небе, а в руках – синица,
а потому и небом горько ранит.
Я сяду в кресло и глаза закрою,
самим собой покинут и заброшен.
До времени оставшись без героя,
я птицам накрошу хрустящих крошек.
Чего же боле, ведь пройдёт и это,
останется надежды полстакана.
Наполовину пуст – читай газеты,
наполовину полон, значит пьяный.
Но после этих общих откровений,
так яростно, так радостно, так громко
взовьётся солнце новым набекренем
над пропастью моей, над горизонтом.

Клокочущая зелень за окном,
безумие, достигнутое днём,
а я пишу о том, что ты последней
меня проводишь в зелени весенней.
И так легко туманная печаль
не раскрывает в бесконечность даль,
но я-то знаю, даль не равноценней
любой математической модели.
И ты – порок, что всех чудес бесценней.
Ты проводи меня, достойно, не оцёнке,
тогда и я, нет, не на глупой сцене,
на самой незабвенной высоте –
я руку протяну одной тебе.
Хотя бы так я вымолю спасенье.

Кони

От добра добра не ищут,
только кони в поле свищут.
Было белым поле,
стало – вороное.
Кони масти бубенцовой,
только цокот, звон да цокот.
Льётся тройка, льётся тройка
звоном колокольным.

Звонниц, неба колоколец,
муз, любовниц, богородиц –
всё нисходит, всё нисходит
над единственной одной.
Буераки-косогоры,
злые вóроны-ворóны –
где ж любовь ты, где ж любовь ты?
Да вы кони, да ты поле!

Только что ж так, что ж так рвётся
тройкой бубенцовой?
Только цокот, только цокот,
только звон да цокот.
Звон да цокот!

Прошлый год

А тебе оставалось старинное дело.
Ты сидела под лампой
в круге тепла, в тёплом углу.
Ты сшивала лапы,
пальцы сжимали иглу,
пальцы зашивали живот:
вверх игла – полуоборот,
вниз игла – полуоборот.
Под январскими швами спрятан
прошлый, затисканный год.

Максимальная степень сомнения

Где ниспадала шутка скомороха
к ногам толпы, кривящей рты упрямо,
а скоморох до Бога и до вздоха
последнего шутил, и купол храма
ему был светел, и толпа сияла,
и падала, сражённая испугом,
могущество бездомного Адама
сбивало с толку мерзостную глупость.

И спадали грехи,
и были дни легки.

Но на манжетах крошки снега
страшнейшим следом разложения,
а ты уже с толпою сцеплен,
и носится над бездной чёрный гений.
Прерваться, или расстоянья
убьют последнюю надежду к свету,
но ты старинной страстью ранен
извечного завета.

Только стоило ли
за эти корабли?!

Алексее Машевскому

Слово о русском дольнике,
боль преодолевая,
перелопачивая строфу,
в зале неожиданя.

Слово о русском ямбе
рад бы озвучивать
в благотворительный глагол
живостью благозвучной.

Слово о русском слове
молвить почти невозможно,
разве что старой рифмой
новый начать многосложник.

Барнаул – Санкт-Петербург

Я застряну в каком-нибудь тихом заброшенном парке,
и в стихах потеряюсь, и будет по коже мороз,
и меня расстреляет мой собственный гелевый «Паркер»,
где-то между дождливых и ветреных метаморфоз.
Как же всё-таки странно кончается на полуслове
этот взгляд, этот вздох, эта жизнь – этот ветреный блюз.
Я люблю и живу, и хочу, чтобы кто-нибудь понял
и запомнил меня, и стихи заучил наизусть.
Что же, Господи, так одиноко и так сиротливо
здесь берёза стоит и таращится на небосвод,
но спасибо тебе, всё же – Господи, всё же – спасибо,
что в размер не попал я ни разу и сразу в расход.
Вот и кончился бал, и свечей не осталось в запасе –
покажите, куда здесь упасть и солом не стелить.
Я стянулся, я сжался, я в чёрную точку сбежался,
я пишу окончанья, а всё-таки хочется жить,
продолжать говорить, чтобы не было на полуслове,
чтобы не было на полувздохе последней строки,
чтобы жить и любить, чтобы кто-нибудь что-нибудь понял
и не отнял от этих ладоней дрожащей руки.

Но невозможно быть,
вот так,
вверху,
невыносимо долго,
там, где рвётся,
где принято пронзительно молчать,
когда внизу,
в окно
скребётся
ветка
какого-нибудь дерева,
хоть той же сливы,
растущей под окном,
и бесится
потом,
когда наступит осень
в беседке,
в чашке из-под кофе,
или в стакане с недопитым чаем.
И дело даже ведь не в том,
что кто-то там,
вначале
умер,
а в том,
что кто-то будет жить,
бесцеремонно рвать и складывать созревшее в ведро,
переживая по-другому поводу всё то,
что означают сад и осень.

И кто,
чего
или с кого там спросит
за этот грохот вёдер и за этот шум,
ему все это совершенно ни к чему –
он будет проговаривать слова
вдобавок к тишине,
как будто бы вас два,
точнее – двое –
один по ту,
другой по эту сторону окна,
как белых два пятна в стекле.
А ты,
который там,
вверху,
где невозможно быть –
ты всё же будешь
стоять,
пронзительно звенеть молчаньем
про сад,
про то, что сливы синие висят
в саду,
где кто-то умер,
там,
вначале.
И если есть на свете тишина,
то все стихи останутся прологом,
стихи,
которые рифмуются с дорогой
и с Богом

одинаково легко,
когда внизу,
в окно,
в то самое окно скребётся ветка,
и наступит осень.
И если нас
о чём-то,
правда, спросят,
то всё, о чём не стыдно будет рассказать,
так это только то,
когда пришлось молчать,
молчать.
Молчать.

Всё хорошо – я растворяюсь в небе,
на этот раз совсем, в буквальном смысле.
Поэты, пережившие на время
самих себя и собственные мысли.
Всё хорошо – в трамвайных остановках,
в кафе, музеях, ночью, на рассвете –
летит планета глобусом на тонкой
оси, а на земле играют дети.
Всё хорошо. И, как-то, между прочим,
осталось всё, накопленное веком,
в каком-то прошлом – рядом ярких точек,
мгновений, где теряли человека.

Заметались в бессмысленном направлении,
словно оленёнок на тропах оленьих
мечется – брошенный, беспокойный, пустой.
Эй, прохожий, погоди, постой –
не уже ли⁴ поэзия, это всего лишь стихосложение?

⁴ Не уже ли – авторское разделение слова неужели (прим. ред.).

Мы видели сотни смертельных примеров
и призраки моря в обглоданных остовах.
И мы, оживляя свою биосферу,
тянулись до самого дальнего острова.
Мы знали, что будет нам мало и вечности
молиться, держаться и плыть за буйки.
А всё «прогрессивное» человечество
глотало скандалов сухие пайки.
Бурлил океан, разражаясь отходами.
В плакате политик висел на заборе...
Мы молча сидели на лоне природы,
мы видели призраки синего моря.

На балконе

И всё тянулось так неумолимо,
и проходило мимо, и уныло
тянулся бесконечный чёткий день...
Белеющего тополя размахи
касались распростёртого балкона,
касались замирающего неба.
Дыши, дыши – шептали утром шторы.
И каждый день таинственно и нервно
струился по экрану монитора
и замирал в конце.
Соседское дурное бормотанье
не стоит денег,
и любви не стоит случайный звук,
и падают ключи.
Переходи на речи с разговоров,
перебори мерцанье монитора,
или – молчи.
Подброшен вверх качающийся мост,
внизу – погост.

Прости, прости,
а я не злюсь и плакать не умею,
но что же ты,
зачем вот так со мной?!

Да, я и сам с собой творю такое,
что ни дай боже выдержать кому.
Прости, прости,
за каждым поворотом
судьбы моей
ты руки раскрывала,
но не навстречу мне – навстречу ветру,
а ветра – мало.
Но нет меня, я умер (ты сказала),
сказала, что привыкла к этой смерти,
как будто бы я умер, не воскрес
на снежной тверди.
И ты сказала – милый, дорогой,
твой пламенный, горящий лёд –
он обжигает, он совсем другой,
не тот, что тает.
Прости, прости,
я здесь искал чудес – тебя нашёл,
а лёд ожить не может,
всё потому, что мой камзол,
рубашка, брюки на ветру не греют тоже.

Я глуп и бесполезен синеве –
ты любишь, ненавидишь и смеёшься,
а тот, другой, он тёплый, он тебе
так человечно вытирает слёзы.
Пусть он простит, надеюсь, что простит,
пусть он меня нисколько не осудит,
ведь всё же холодеющий гранит
теплее моих судеб.
Я честно пробовал,
но не могу убить,
себя, любовь, твои глаза ночные,
какие ж это страсти роковые,
когда в петлю залезть мешает прыть
горячего и ледяного сердца –
лежал в снегу, а выросла трава.
Простите меня, Господи, за мерзость
и за мои ничьи колокола.
Простите меня оба, если можно
прощения просить в моём бреду,
но знайте, там, где тихо и тревожно,
я вас прикрою,
я вас проведу.

Нет большей тайны – тайны больше нет,
и этот скользкий, извивающийся свет,
который льётся с мокрых фонарей в окно,
и свет горит, и в комнате темно.
И льётся дождь, машины и слова
гудят, шумят, и путаются дни,
мы здесь одни – дрожащие огни –
ты это никому не говори.
Никто не знает правды о словах,
и на каком понятном языке
нам всё сказать, и вырваться вовне,
быть не одним в сети или толпе.
И я сижу, и в комнате темно,
и льётся свет, и бьются о стекло
частицы света, скатываясь вниз,
текут и звонко бьются о карниз.
Нет темноты, и света тоже нет,
нет этих растревоженных планет,
нет звёзд, предметов, пачки сигарет,
и Этот свет – таинственен и слеп.
А ты сиди, смотри в своё окно –
снаружи сыро, в комнате – тепло,
и в комнате темно, и ты давно,
не понимаешь, где добро и зло.
Но есть один, кто смотрит из тебя,
и этот он, давно уже не Я,
и льётся дождь, играя и звеня,
и в комнате темно, и нет огня.

Ломают копья, пьют и голоса,
и к небу поднимая гордый взгляд,
и снизу вверх глядят, глядят, глядят
и стар, и млад.
Всё будут продолжать круговорот,
и день встречать, и каждый новый год,
и век идёт, и новый век грядёт,
и вновь рождает тысячи сирот.
Но есть в сиротстве радостный полёт,
и в тайне света скрыто больше слов,
и в тайне тьмы – основы из основ,
всё тех же слов, всё тех же старых снов...
и снова снег идёт...

Отечественное

Захару Прилепину

Ямы-колдобины, полуовраги
полулюдей – фонарей в горизонте
вспомните – вы на дороге, на фронте,
стыдно за стадно? Раскайтесь и вспомните!
Наших дедов, праотцов – наше прошлое
больше любого из нас, откровеннее.
Идолы, Господи, были отброшены.
стали ли скрепами, стали ли звеньями?
Так расплескалось, что запросто выплеснуть
воду с младенцем и прошлое с будущим.
Вытаскать кружками – можно и кружками.
Были внутри раны, стали снаружи!

На самом дне заря горит,
отлит из камня красным цветом
и разбивается, звонит
гранит, и плавится под ветром.
На самых дальних берегах,
в словах, в биении созвучий
рассыпаны и боль, и прах,
и страх о мнении могучих.
Но ты не бойся высоты,
пусты, кто осторожно ходят,
кривя заученные рты,
когда им в уши громко звонят.

А когда расстреляет окно перезрелым морозом,
надо встать, повернуться и выйти, забыть и простить,
променяв на разлуку свободы холодные розы –
так банально и просто, что хочется взять и завить.
Одиночество меряют ровным пределом квартиры,
а потом – раскрывают окно в непроглядную тьму,
где бессовестно смотрит на окна поэт и мужчина,
где свободу не измеряют тюрьму и суму.
Вот и всё, окончание бала – погашены свечи,
и метель разбросалась по всей беспокойной земле,
и становится доброй сестрой непроглядная вечность,
и узором застыли стихи на рабочем столе.

Правила пользования жизнью

Младшему брату Юрию

Правила пользования пассажирским лифтом,
а внутри никого не видно.
Вскрытие замков не имеет рифмы,
только щелкающий ритм, только ритмы, ритмы.
Захлебнется прохожий городом,
этой рвотой, городской рвотой
И из самого центра дымящегося ротора
захлебнется прохожий городом.
Целоваться всласть некогда, всё одна работа,
да не упасть бы ещё на буграх гололедных.
Вот так и живет обитатель бетонный –
не под небом живет и без повода.
Так и живешь – болтаешь да болтаешься,
да не летишь никуда, да все падаешь, спотыкаешься.
Ты один такой, ты ни с кем не знаешься,
всё любишься в зеркало, да умиляешься.
Прослезиться бы, Господи, да помолиться как встарь истово,
только сердце мечется, бьёт бессмысленно.
Так пожирает время зелень кустистую,
и меня пожирает пустого, костистого.
Как мне быть, Боже?
Как мне не рыдать?
Чтобы скотство всё,
чтобы эта рать
ни взять не могла, перестала вязать,
Да чтоб «матушка» сказал, а «не твою мать».

Тяжело мне, знаешь же,
но дай мне сил,
и прости за всё,
что перетворил.
Что же натворил?
Все же натворил.
Ты прости меня,
дай мне,
Боже,
сил.

У памятника Пушкину

То ли от колкости, то ли от немощи,
то ли от бронзовой немоты
Александр Сергеевич всё стоит ещё,
но уже позеленел и остыл.
Здание с надписью «Известия»,
с каменной надписью, гробовой –
Пушкин слушает, улица – бесится,
транспорт, грохочущий по Тверской.
То ли известия слишком горькие,
или, быть может, такой нюанс,
что Тверская прямая, продольная
переулком Дегтярным пересеклась.
В общем, как-то всё здесь не радостно,
как-то здесь неспроста угар,
видно за Пушкиным не напрасно
изогнулся Страстной бульвар.
Там звонит одинокий колокол
Высоко-Петровского монастыря,
и всё, что в бронзовом было колкого,
то, пожалуй, случилось зря.
Что, пожалуй, вообще случается,
что случайно и на потом?
Выше немощи, гнева, зависти
Он, малиновый только звон.



Чувство

Пресыщенный дождём проспект,
и треск взрывающихся почек,
и в окнах брызги многоточий,
и свет, и бред.
Поэт свидетель, были там
зонты, как всплески междометий,
и к лицам прикасался ветер,
и по губам
скакала судорога чувств,
срываясь вдруг и неуместно –
нет, так нечестно, так – не честно –
от губ до уст.

Вроде время имеет размеры,
Но опять наблюдаю я –
Дождь, такой надоедливо-серый,
Размывает границы дня.
Вроде ты говорила: «Здравствуй!»,
Но опять как сто лет молчишь...
Дождь, обыденно и бесстрастно,
Барабанит по скатам крыш.
На столе только в позе лотоса
Маленький гипсовый Будда...
Смотрит, молчит...
Ну, вот и всё...
Эхо дождя...
Как...
Будто...

Разламывая лёд

Рассказы о короткой синеве,
непреходящем облаке заката,
что необъято, то лежит к тебе,
и тянется к тебе луной щербатой.
И мутный образ сумрачного дня
теряется в последних отголосках –
я всё стою прямой, как луч, как сосны,
обветренный как камни, как земля,
но сердце точит червь – я сомневаюсь –
а стоило ли время изводить
на эту человеческую зависть,
на злую человеческую нить.
И, ангел мой, мне так невольно жутко
смотреть назад и я смотрю наверх,
но даже там – ночное время суток,
а я хотел сверкающих прорех,
а я хотел... да разве это важно...
сейчас и здесь кончаются стихи,
где жизнь моя безумна и сутяжна,
где в завтра заглянуть смешно и страшно,
где много ослеплённых и глухих.
И создавая спорные отрезки,
и разбивая мысли на столбцы,
банально и наивно, и по-детски,
и авторучкой трогая листы –
поэзия не требует предела,
как правда слишком многого не ждёт.

И если кто усядется за дело,
старинное, таинственное дело,
он человека всё-таки найдёт.
Пока же я ломаю в пальцах лёд...

Безмолвствует мифический народ...

Расплакалась!
Бурные слёзы давно
наружу рвались разбивая преграды.
Увы, трагично у жизни кино,
только не остановишь кадры.
Обвилась вокруг шеи скользящей петлёй
жара, духота.
Ты хотела поверить,
изменится всё, но холодной змеёй
тоска притаилась под запертой дверью.
И были растоптаны туфли и грязь,
истёртые камни вопили о прошлом.
Не ревность, но ненависть,
даже не страсть,
но вся неизбежность от «бросить» до «брошусь».
Такой тебя встретил.
Рвались небеса
жару остудить, и разорванной тканью
на плечи безумно упала гроза.
Асфальт, пешеходы, деревья и здания –
всё съёжилось вдруг, испугавшись на миг,
потом – распрямилось и с новой силой
наверх потянулось.
И молний язык
излизывал небо ужасно-красиво,
вода пузырилась и скалили пасть
подземных бетонных дорог переходы.
Ты вся, без остатка грозе отдалась –
намокшие косы, дороги и годы...

Вперёд пробирался по сетке дорог,
над головой закрывались бойницы.
Застыли суровые краски тревог –
закат красно-медный на бронзовых лицах.
Я шёл, сквозь проёмы своих же глазниц,
обугленных чем-то в подобие света.
Я стал отражаться и падали вниз
страницы приснившихся дней и заветов.
И стали пустыми значения слов,
и стали все звёзды смешны и нелепы.
Была ли любовь?
Или стала любовь
какой-то иной, не уверившей слепо.
Там свет поднимался рассветный.

Сложный фантазм

Как в этом облаке
скользящие закаты,
а ты безудержно
опутан суетой.
Уходят вдаль
последние фрегаты,
в глазах рябят
последние фрегаты,
а ты – Чужой,
и хлещет дождь косой.
Не надо слов –
другое вдохновенье
не стоит ничего
без проводóв,
что сотканы
за это время,
за это
бесконечное родство.
И плавится
цветное слово,
и застывает
в говоре молвы.
И сгорают кусты,
бесконечно пусты.
И из этого пепла фраз
взрываются цветы.

Ставишь цветком своё одиночество
в стакан – цветок дыханьем колышется,
а я не сплю, полночи ворочаюсь
в квартире, этажом выше...
Жизнь – это ни плана, ни схемы.
Осень – в саду пустые качели.
Встаю, беру с полки «Капитана Немо»,
а над головой двадцать тысяч лье
дождя. Из кухни приносишь крекер
и пару пакетиков «Кама-Сутры».
Есть повод послушать саундтреки
к старым фильмам и выждать утро.
Ночь подведёт фиолетовой пастой
наших маршрутов несовпадение.
Грусть – это жизнь уходит напрасно.
Грусть – у подъезда следы осенние.

Я люблю, я живу

Я люблю, я живу – какие уж тут секреты.
Даже ветер шумит и даже меж звёздных прósек.
Даже если в кармане дешёвые сигареты –
я люблю, я живу – это главное, кто ни спросит.
Игнорируя сводки погоды, отбросив точность
распорядка дня, расписания встреч вечерних –
пусть нагрянет дождь без авгуровских пророчеств,
пусть внезапный дождь скребёт и буравит землю.
Если выпить до дна разлук и дорог напитков
всё окажется легче и даже – намного проще.
Сердце хочет любить – не нужно граничных пыток,
ведь ему для любви нужна огромная площадь.
Небо вновь перечёркнуто чуть шевелящимся клином
и бензин перемешан с запахом жёлтых колосьев –
жизнь полна и прекрасна над этим безумным миром...
Только всё ж непонятно – зачем так тосклива осень?

Только если ты прав, то скажи мне тогда, почему с каждым утром всё меньше сыпается сверху песчинок, но всё больше становится жалко растраченных дней, и ты пьёшь или спишь, и всё меньше песка наверху.

Только если ты прав, то всю правду твою и мою засыпает холмом из песка, и разносится ветром даже холм – превращается в ровное место, зачем, если хочется здесь и сейчас, и навечно – зачем?

Только если ты прав, то зачем и хотеть, и желать, ведь изгладится всё, и твоя суетливая спешность, и ладонь, и рука, и глаза, и победы твои – нарисованы на безразлично-прохладном экране.

Только если ты прав, то зачем суетишься успеть, собирая пожитки и десять раскрашенных жизней, словно крыса ты бегаешь по лабиринтам игры, не придумав в игре ни одной, даже маленькой, строчки.

Только если ты прав, то скажи мне, ну кто ты такой? Прилепившийся к миру полип или крыса в клетушке? Ну и кто может богом назваться в твоей толкотне? Только Тот, кто придумал тебя, для тебя и тебе.

Утро

Это раннего утра июльская тишина
и раскинулась сада намокшая зелень
и лёгкий туман,
и вокруг ожидание солнечного огня.
И по небу птица плывёт,
и Он смотрит оттуда на нас –
на тебя и меня.

В. Емелину

В Сионской горнице Христос преламывал хлеба́
с простыми рыбаками.
И говорили – брат, и каждый узнавал –
тем хлебом человека Бог спасает.
Так было, есть и будет
до времени, до окончанья.

В блокадном городе отец принёс домой
кусочек малый – хлеба пайку.
И при мерцающей свече, когда весь мир лежал в огне
хлеб преломляли.
И отступало зло – и загоралась
надежды малость.
И там, тогда не просто хлеб спасал,
но та его преломленная радость.

Ты знаешь, брат, бывает страшный голод,
и знаешь страх от злой драконьей жажды.
Но нас выводит из пещер Господь –
и вывел Он тебя однажды.
Однажды к свету нас Господь повёл,
и каждый чудом брата приобрёл.
И ужиная редко вечерами
мы тоже хлеб с тобой ломаем,
и, молча, понимаем
то большее, что означает – брат.

Так, через два тысячелетия
всё та же радость человечья
живёт.
И к жизни нас выводит –
Вечный!

Фантазм – изречение

Почему б не помериться силой с безумной толпой
апеллируя
к извечности
красноречия.
Пусть говорят тебе –
ты по-волчьи вой,
да побессердечнее.
Я говорю:
Если спать, так спать,
а если петь,
так играючи,
да повыше брать,
в поднебесье брать,
там,
где остались слова ещё.
Молодых голов не жалеет тьма –
так светить тогда
надо не скребясь,
если брать, так брать,
а винить, так сполна,
пепельную
разгребая грязь.
Там, на ветру говорит тросник,
и водой ему орошает грудь –
если нет брода,
надо напрямик,
значит прорвёмся
и срежем путь.

Футуристическое ретро

Глухота накатила, и звуков нет,
только ссылки на газовые слова,
надвигается на края туман –
две строфы, да и то – в бесконечность лет.

И дом не тюрьма.
Только вчера
ты построил крепость
из ровных досок ума.

Но что-то не так,
и клёкот военного грома
вбивает в сетчатку помехи,
и бледен экран.
Уляжется грохот,
останутся песни в дорогу
и рьяный бурьян.

Холодный ветер бьётся об асфальт
и нависают травы и заборы.
Попытки угнетённость описать
похожи на старинные укоры
природе.
Неумение читать
предметы, оцифрованные Богом,
рождает неизбежную тревогу
и сумрачные мысли у порога,
и видимый до крапинок асфальт.
А ветер бьёт в асфальт который год,
бессмысленно, жестоко, ради трещин.
Так бьют набаты свай, забитых в лёд,
так бьют на свете самых лучших женщин!
И так ехидно хмыкает протак,
с руками золотыми, с тягой к водке,
о том, что всё на свете просто так,
как на вокзалах взгляд с ориентировки.
И только не шевелится тростник,
спиной примёрзший к плоскости забора,
он как упрёк бессмысленности книг
и мелких войн с уставшим участковым.

Я в круг вхожу косноязычной речи,
а стоило ли время искушать
ни дать, не взять
научат рифмовать и всё по-человечьи,
но я уверен, что по-человечьи
нельзя в зенит чего-то там сказать,
а только можно скрасить
очередной и чаепитный вечер, библиотечный
и так, и ничего, и не узнать.
Тем малым измененьям
стихотворной стройной речью
по-человечески – когда в зенит,
по-человечьи – только опустив глаза к земле.
И мы росли, глаза не поднимая
твои, мои, ничейные таланты
росли внутри и зеленели горним,
земная проза королевскими томаами
забивала полки, но слово было голым,
а в нас росли глубинные слова
и век, одетый золотом,
и следующий – целебным серебром –
мы вопреки всему, столбами светлыми из слов,
весной зелёной
слагаем бархатным, пурпурным словом то,
что можно выразить, пожалуй,
лишь странным образом,
когда вся наша голова уходит в небо корнем.

Пока внизу молва и ссора,
и праздноречие, плоды всегда одни – война,
но говорят, что до тех пор народ живёт
пока рождаются поэты.
И, вообще-то, любой из них
всего лишь в окончанье слова
изменит что-то, может просто буквы голос,
но за этим и высота, и вечность будут
предстоять,
а голова так и растёт всем корнем в небо,
не потому что есть ради чего,
но вопреки дурным словам,
пустым словам, бессмысленным словам.
Так в небо и буквальным образом
направлена, стремится голова,
так лебединые не песни, но слова.

В ночь на Рождество

Михаилу Гундарину

Поэт устал, он хочет уходить,
что толку с муз – одна дурная слава,
да из борща всплывающие лавры,
и сердца растревоженная нить...
Шути опасней, искренней шути,
температурой прыгай в верх высокий,
но скоро лопнут пузыри земли –
смотри, заря взбухает на востоке.
Что скажешь ты на этот новый смех,
на смех непредсказуемый и дикий?
Скорей наверх, на безопасный верх,
где не слышны истерики и крики,
где согрешивших нет, и мёртвых нет,
где розовый огонь не угасает,
где тёплый санфаянсовый клозет,
и где не донимает злая память...
Да, было б хорошо сбежать, и жить,
глаголом жечь, и, просто, сверху плюнуть,
потом остыть и женщин разлюбить,
и взвыть, и выть тоскливо и угрюмо.
И это, точно, не литература.

Что это, если не ты, ни тебе, несомненно
весь распакован, всенепрерывно.
Что это, если и тлеет нетленное,
но без тебя – забвенное.
Вот, корабли из плотного воздуха,
не за монетами парусом полнятся.
Что это, если и грозы – не грозы,
всем фиолетовым в них и лиловым
бродишь во мне, так серьёзно и просто,
больше, чем воздух.
Что ли над воздухом?
Проза не проза, поэзия, поза –
всё, шелухой листопадною сквозь тебя –
ты невозможная, больше возможного.
Земли, кареты – всё это распродано.
Ты – наполнение *неэпизодами*⁵
слов осторожных как башен острожных,
но нас укрывает молчание Божие,
чем-то несложным, целым – несложным.
Ты – это кровь моя бьётся тревожно,
льётся и льётся, и капает тоже,
мало и больно, но все же, но все же.
Ты моё большее этого всё же.
Выжил, дожил, разве это возможно?
Что, если это всё вместе способно
было дожидаться и стало свободно.

⁵ *Неэпизодами* – авторское слитное написание словосочетания *не эпизодами* (прим. ред.).

Я-то всё думал, что городом вскормлен,
но оказалось, что голодом, голодом,
только вот так, по тебе, этим голодом,
лишь насыщаюсь не сытостью гордой...
И жизнь прорастает апрельской погодой...

В полях находится пространство
и тишина.
Но мне всё хочется, чтоб ты была.
И жук пересекает поле моих страниц,
и солнце падает за горы, не слышно птиц.
И это свежее пространство и тишина,
а мне всё хочется остаться, чтоб ты жила.

А я хочу к тебе
и даже не представить те боль и ад,
что преграждают путь –
какое-то немислимое пламя,
гиенна, выжженное поле, память.
А я иду к тебе, шажками маленькими,
мне хватит сил, я знаю,
но иногда туман одолевает,
и шепчет голос злой, беззвучный, безучастный
и с ног сбивает.
Ты верь! Мне больше нечего сказать,
и потому надежда никогда во мне не умирает,
и я иду к тебе, встаю
и снова малыми шажками иду, иду,
и голос злой в тумане исчезает,
а я иду, иду к тебе таким
каким был раньше виден маме.
И я надеюсь – ни стихами, ни словами,
но всё-таки дойду к тебе, родная,
и близкая, и дальняя,
дойду к тем нам, которых и короновали
в храме на венчании.

Котята

А если небо нас не осудило,
то люди никогда не скажут правды.
А я уеду, даже если рано,
такой вот весь дурной, непобедимый,
где ни солгать, ни встать и ни уйти,
когда одним непринуждённым жестом
срывают сливу спелую и честно
выходят из тоннеля, из сети,
из тела или – что там есть в запасе?
Но я же честно говорил – прости,
а потому меня, как в первом классе,
простят, поймут и заново раскрасят,
и выпустят мне солнце из груди.

А я любил, как любит человек,
любил друзей, и маму, и тебя.
как глупо всё сейчас, как будто снег,
как будто тёплый, самый первый снег
или последний снег, или котят
вытаскивают дети из коробки
и пальчиком их гладят между глаз.
И так тепло вокруг, и так неловко
об этом говорить сейчас.

Но я же говорю – я пахну сливой,
той самой спелой сливой в сентябре,
что бабушка срывала и любила,
и гладила меня по голове.

А я её, в последний раз, не гладил
и снег не первым был, а был февраль.
Некстати, а оно всегда некстати,
как на дверях с рекламой календарь.

А я любил и честно был несчастным.
Пил кофе – но его я не любил,
но всё же пил – и жил я не напрасно
хотя бы потому, что просто жил.
И человек ко мне не ходит чёрный,
а больше милых, светлых, дорогих.
Я и сейчас живу, и честно помню,
я честно помню ласковых, смешных,
любимых мне людей – котят в коробке.
И там, где будем мы уже одни
я их достану, маленьких и тёплых
слепых, смешных, мяукающих, мокрых
и крикну – мама, мама, посмотри.

Я и тебя достану, откровенно,
нагую, утром, с розовой щекой,
пушистую от солнечного света,
с запутавшейся в простыне ногой.
И буду долго шарить под диваном
искать заколку или ободок.
Хотя бы потому, что это правда,
немыслимая, радостная правда,
что я тебя любил всегда, как мог.

Вот, снова снег, а я опять про дачу,
точней про сливы в лапах у котят.
А был ли я, а был ли этот мальчик?
Ведь я уеду, так или иначе.
У нас ведь так про **это**⁶ говорят?
Да, говорят, чего ещё тут скажут,
ну, разве что добавят про тоннель.
А я вот не хочу, мне как-то страшно,
сидеть вот с этим самым в голове.
Хотя бы потому мы будем каждый,
совсем не мёртвый, а наоборот,
на дачах объедаться манной кашей
и ёлки наряжать под Новый год,
и доставать игрушки из коробок,
и, помните про маленьких котят (?),
мы побежим мяукать возле ёлок –
у нас вот так про **это** говорят!
И сливы будут, да, и будут сливы,
и бабушка, и мама, и друзья.

Вот, что такое значит быть счастливым.
Я потому хотя бы был счастливым,
что я всегда как мог любил тебя.

Ложится снег на мокрый подоконник.
Который час? Одиннадцать? Пора
ложиться спать – я пью на кухне кофе,
и я сижу, и ночь, и до утра
мы будем спать с тобой в одной постели.

⁶ Это – слово выделено автором, т.к. имеется в виду бессмертие души, жизнь после смерти (прим. ред.).

Как глупо всё сейчас, как будто снег,
как будто первый снег заносит двери,
или последний снег заносит двери.
Как будто самый главный человек
достал котят пушистых из коробки
и пальчиком их гладит между глаз.
И так тепло вокруг, и так неловко
об этом говорить сейчас.

Оживающие холмы

А мама мне сказала – высота
глубокая, бездонная, бескрайняя
и я поверил и горизонтали
мне стало стыдно мерить
уже тогда, когда она ушла
ушла нелепо, до безумного слаба
ведь я её тогда лишь полюбил
нет, не когда похоронил
блондинка – всё, на что мне в морге сил
хватило и тогда,
накрыв ладонью гроб,
я был с тобой до самого конца.

Тот август спели сливы цвета боли
и душно цвёл кладбищенский цикорий
отец тебя в гробу не опознал
и всё подкашивал ослабшие колени
а мне досталось на глаза
горячее, сухое онеменьё.

Одна, засыпанная в подземелье
холмом могильным, временем, во мне ли
ты прорасла тем словом – высота.

А после, 21-го числа,
когда вода тончится острым льдом
ноябрьским свиданием с холмом
(ещё не знал – свиданием последним)
и, поправляя твой могильный холм,
я по тебе вдруг зарыдал, осенний
и немоту сухую пробивал
солёной влагой и тебя всё звал
захлёбываясь звал, просил прощенья...
А после жить уехал навсегда
в столичный мир, соседний.

И вот, прошли немногие года,
отец лежит уже два лета там
где по кладбищенским холмам
берёзы тонкие и тополя белеют,
а я вот всё живу.

И сердце иногда болеет
любовью поздней, но словам
твоим словам о высоте
всё также, неизменно продолжает
верить.

Содержание

От автора	3
«Христос Воскрес! В смятении Мария...»	4
«По полям, по раскидистым зарослям...»	5
«И рассекает снежные поля...»	7
«Мне ли петь...»	8
«В январе, по углам...»	9
«И нет, ну какой из меня иконописец?...»	11
«И волнами октябрьского света...»	12
Отшельник	13
«А вот были медведи...»	15
«Белое облако дыма...»	16
«А мне, когда приходится светло...»	17
«Обнажились и почернели скелеты сугробов...»	18
Человек в квартире	21
«А пёс летел, раскидывал ушами...»	22
29 февраля на Красноармейском проспекте	23
Снег	30
«И глухота, где стынть и стан...»	31
«А если выходя за эту дверь...»	32
«Камень лбом упирается в водный поток...»	33
«Заморожен и звёнок свет январской луны...»	34
«Вот так и мы, из года в год...»	35
«Время, время...»	36
«И если бьётся что-то яростно, в груди, не уставая...»	38
Рабочий Василий	40
«А когда мы вернёмся домой...»	41
«Да будут здесь жуки гудеть...»	42
«Красота так прозрачна, печальна и неуловима...»	43

«Подожди, я не стану тебя доставать своей музой...»	44
«Даже эти газеты, что криво прилипли к стёклам...»	48
«Мой дед под Курском был, где смерть лихая...»	49
Жизнь замедленных листьев	51
«Вот, после дождя я вернусь, обязательно, светлый и тихий...»	52
«Как плачет осенним тополем...»	53
«Миленький ты мой, какая скука...»	54
«И под ногой хрустящий снег...»	55
Могила тревожного сердца	56
«И, знаешь, этот голос твой, такой звенящий...»	57
«Вот снег, первый снег – двадцатое октября...»	59
«Это больше, чем сон, чем во сне нелюбовь Беатриче...»	60
«Подожди, между прочим, мы просто устали...»	62
«И от Малой Олонской рукою подать до Речного...»	63
«Только ты или я – здесь останется это не важным...»	65
«Когда останется чуть-чуть до дна...»	66
«Не словом единым, а только руками...»	67
«Закатился за крышу...»	68
«И звоном пухнет тишина...»	69
«И вздыхает, нагруженное зерном...»	70
Тополиное	72
«Но так и есть, о, Господи, вот так...»	73
«Так дай мне этих рук прикосновений...»	74
«Здесь был какой-то гулкий морок...»	75
Пасхальное	76
Элегия № 1	77
Элегия № 2	80
На Троицу	82

Венчалное	83
«И нечему радоваться...»	85
«И смотрит Бог сквозь дыры в облаках...»	86
«Клокочущая зелень за окном...»	87
Кони	88
Прошлый год	89
Максимальная степень сомнения	90
«Слово о русском дольнике...»	91
«Я застряну в каком-нибудь тихом заброшенном парке...»	92
«Но невозможно быть...»	93
«Всё хорошо – я растворяюсь в небе...»	96
«Заметались в бессмысленном направлении...»	97
«Мы видели сотни смертельных примеров...»	98
На балконе	99
«Прости, прости...»	100
«Нет большей тайны – тайны больше нет...»	102
Отечественное	104
«На самом дне заря горит...»	105
«А когда расстреляет окно перезрелым морозом...»	106
Правила пользования жизнью	107
У памятника Пушкину	109
Чувство	111
«Вроде время имеет размеры...»	112
Разламывая лёд	113
«Расплакалась! Бурные слёзы давно...»	115
Сложный фантазм	117
«Ставишь цветком своё одиночество...»	118
Я люблю, я живу	119

«Только если ты прав, то скажи мне тогда, почему...»	120
Утро	121
«В Сионской горнице Христос преламывал хлеба...»	122
Фантазм – изречение	124
Футуристическое ретро	125
«Холодный ветер бьётся об асфальт...»	126
«Я в круг вхожу косноязычной речи...»	127
В ночь на Рождество	129
«Что это, если не ты, ни тебе, несомненно...»	130
«В полях находится пространство...»	132
«А я хочу к тебе...»	133
Котята	134
Оживающие холмы	138

Литературно-художественное издание

Иван Юрьевич Образцов
ОЖИВАЮЩИЕ ХОЛМЫ
Стихи

Редактор: Ю. А. Нифонтова
Дизайнер: К. М. Паршина
Иллюстратор: Ю. А. Кобзева
Верстальщик: К. А. Горева

Подписано в печать 17.10.2022 г.
Формат 70x100/32
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 95

Отпечатано в ООО «ЭКСЕЛЕНТ».
Адрес: 630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 35, офис КЗ № 31/2
Телефон № +7-953-887-0769



Иван Юрьевич Образцов родился в г. Бийске Алтайского края. Окончил Бийский педагогический институт (факультет экономики и права) и Барнаульскую духовную семинарию (кафедра церковной истории). Стипендиат Союза писателей России 2012 г. Автор научно-популярных статей о символике церковного искусства, литературоведении, критических очерков о современной литературе, ряда поэтических книг и прозаических произведений.

В настоящее время – преподаватель истории и теории иконописи, русского языка и литературы Воскресной школы для детей и взрослых при Иоанно-Богословском храмовом комплексе города Барнаула. Преподаватель факультативного курса в ВУЗах г. Барнаула по теории стихосложения.

Публиковался в журналах «Юность», «Север», «Новый мир», «Невский проспект», «Ликбез», «Бийский Вестник», «Алтай», всероссийских изданиях «Свободная пресса», «Литературная Россия», «Литературная газета», «Русский пионер», «Литература» и др.

Состоит в совете общественной Алтайской краевой писательской организации (Союз писателей России). Член московского клуба мастеров современной прозы «Литера-К» с 2015 г. Член Союза писателей России с 2015 г.

